

Поднявшись на крыльцо, я остановился, глубоко вздохнул и невольно присел на верхнюю ступеньку – шутка ли: отмахал почти дюжину километров под дождём по раскисшему просёлку; сто раз, наверное, вспомнил гоголевское: дороги в России расплзаются, как раки. Пару раз, утомившись, я попытался передвигаться по травяной обочине, боясь зачерпнуть голенищами пудовых от налипшей грязи сапог коричневой жижи колеи. Но трава обочины, залитая водой, была скользкая словно лёд и совершенно непроходима. Пришлось вернуться на фарватер.

Нелегко дался мне этот марш-бросок. И когда на пригорке показалась деревня, запела душа моя. А на крыльце – сморило. И я сидел на сырой досочке и осматривал скудный пейзаж осеннего сада. Редко краснели ранетки; рябины было много – к суровой зиме; между пышных кистей цвиркали синицы. Вдоль стены дома поленница; к сожалению, ольхи да осины много, бедноватый у нас в округе лес. Поверх высокой поленницы уложены куски рубероида, на фоне их аспидной черноты стекающие витые струйки кажутся хрустальными. Случайный лучик солнца коснулся одной – золото потекло с рубероида. Но уже вечерет. Над туманными купами дальнего леса чёрные стаи птиц, скоро они будут жить в тёплых краях... Пора и мне; сыро, зябко, холодно.

Я толкнул тяжёлую дверь, глаз не сразу привык к тьме. Но запахи! Терпко – вязанки чеснока и лука, на противоположной стенке – сухое разнотравье: душица, малина, иван-чай пучками да вязанками, разве всё упомнишь? Уже и предметы проявились, а я вдыхал и вдыхал; у родины много запахов, но главные – в доме...

На здоровенных гвоздях висит всё та же пара фуфаяк (я прислонился к ним щекой), что-то вроде попоны, солдатская плащ-накидка с огромным капюшоном (как ты попала сюда, многострадальная?). Сапоги, фэзэ-ушные ботинки, у-у-у какие большие. Но я знаю их – до чего же удобные! Толстые носки-то всегда на ноге – попадёшь в обувь эту не глядя и – на двор...

Я вышел наружу, вымыл свои резиновые, поставил их в модельный ряд. Споткнулся о лестницу – там, под крышей, наверное, есть сундук со старыми вещами. А скорее всего, он давно пуст – я же сам когда ещё всё там разворошил...

Я шагнул в избу, сбросил рюкзак и верхнее прямо на пол.

Баба Груня сидела на высокой лавке около печки и помешивала деревянной ложкой в чугунке.

– Здрасьте, баб Грунь! Наконец-то добрёл... Опять печку ободрали? Завтра подмажу...

– Да я как заношу дрова, так цепляюсь. Говорила Кольке-печнику, чтобы чуток поменьше сделал, ан нет, не послушал. Наворотил. Дров не напасёшься. А ты скидывай одёжку, скидывай. Проходи, Санько. Как же ты добрался в такую непогоду? – словно не удивившись моему приезду, спросила баба Груня. – Хе-х, снова приехал осень провожать? Что в ней нашёл-то? Грязища на улице, и дожди хлещут да хлещут. А говоришь, красивше осени ничего нет. Хе-х, – она мелко, дробно засмеялась и прикрыла рот ладошкой.

– Да, баб Грунь, к осени приехал. К ней, родимой.

Поздоровались, разговорились.

Всю жизнь меня удивляла эта особенность деревенских встреч – приедешь спустя хоть пять лет после последнего посещения, а беседа о человеке или событии словно и не прерывалась.

И однажды я почувствовал неизъяснимую прелесть этой странности – время моё и чувства словно восстанавливались, меня не утомляли не раз слышанные истории, да и сам со странным удовольствием я повторял уже не раз сказанное. В городской жизни подобное невозможно...

На бабе Груне старенькая линиялая коф-тёнка, застиранная длинная юбка, на поясице завязана шаль. На ногах топтыши, так она называла обрезанные валенки. На голове платок, из-под него выбились прядки седых волос. Она смотрела на меня блёкло-голубоватыми глазами. Выдвинула из печи небольшой чугунок. Обхватила его серым, с пятнами сажи, полотенцем и поставила чугунок на стол. Достала каравай и начала отрезать от него толстые ломти:

– Как чуюла, что появишься. Точно! Глянула в окошко. Дождь хлещет, а ты вдоль забора идёшь. Весь в Нюрку, в мамку, уродился. Она приезжала осень провожать, и ты взялся. Твою мамку многие с малых лет считали мало-хольной. Утром встанешь, чтобы коровку подоить, взглянешь, а она мелькает в платышке возле воды – рассвет встречает! Мамка-то её рано помёрла. Некому было за Нюркой при-

глядывать. Так и росла дичком. Думали, пройдёт, когда замуж за залётного выскочила. Ан нет, просчитались! Каждую осень приезжала. У меня останавливалась. Вещички оставит и на речку мчится. А я на крылечко выйду и поглядываю. Она, бывало, сядет на берегу, уставится на воду или на лес и не шевельнётся. Тёпло ли, слякотно ли, снег сыплет, а ей всё одно. Это она осень провожает! Вернётся, а взгляд чистый-чистый, словно в церкви побывала. Господи, прости мою душу грешную! Переночует. Выйдет на двор. Прижмётся к рябине, словно прощается. Обнимет меня и бежит на тракт, торопится в город поспеть... Хе-х, и соседи на тебя посматривают! Чать, и ты будешь сынка сюда привозить, а, Санько?

– Да, баб Грунь, буду, – сказал я и засмеялся. – Мы же все малохольные...

– Тыфу ты, прости Господи! Слышь, а что твоя Танька такая худющая? – взглянула баба Груня. – Плохо живёте, да?

– А если хорошо живём, значит, Танюха должна быть толстой? – склонившись над рукомойником, я засмеялся. – Она похудела, когда Серёжку родила. Второго огольца родит, тогда поправится.

– Танька на сносях? – взглянула баба Груня. – А по ней не скажешь. Доска доской. Ну, дай Бог, дай Бог! – она взглянула в передний угол и быстро перекрестилась.

Я вытер руки и лицо застиранным полотенцем. Повесил его на вбитый толстый гвоздь. Потянулся. Прижался спиной к печи:

– Хорошо-то как! Ух, натопила!

– Пришлось. Покуда порсяткам приговорила. Щец наварила, и в печи потомила, как тебе нравится. Митяй, сын Вьюрихи, вчера свинку заколол. Кусище приволок. Ты, Санька, присаживайся. Хе-х, снова гостинцев понавёз из городу? Да куда мне одной столько-то? Ну, ежели подружки зайдут... Угощу, побалую девчонок. Бери хлеб, бери. Свежий. Позавчера токмо испекла. Погодь-ка чуток, мы ещё по рюмашке опрокинем.

Было заметно, как она обрадовалась моему приезду.

Я сидел на лавке и наблюдал, как баба Груня сутилась возле стола. Она достала из старого буфета большие тарелки. Фартуком протёрла ложки и положила рядышком. Напластала розоватое сало с прослойками. Вынула из банки пару солёных огурцов с прилипшими семенами укропа и с какими-то листочками. Не очистив, разрезала крупную луковицу. Вытащила литровую бутылку с мутноватой жидкостью и две гранёные стопки. Села напротив меня. Налила самогон вровень с краями и подняла рюмку:

– Ну, Санько, за приезд, – медленно выпила, замерла на мгновение и резко выдохнула. – Хороша, зараза! Выпей, Санько, для сугрева. Выпей, чтобы не захворать.

Я осторожно взял стопку. Поднял. Не решаясь, посмотрел на белёсую жидкость.

– Что застыл, аки столб, Санько? – шепеляво спросила баба Груня, норовя откусить беззубыми дёснами кусочек сала. – Не бойся. Пей. Чистая! Не то, что ваша химия. На пшенице ставила. Ох, хороша! Я теперь три стопочки, и хватит. Организм не позволяет. Старая стала.

– Баб Грунь, сколько тебе лет, если три стопки выпиваешь? – я спросил и засмеялся. – Сижу, не знаю, как одну-то осилить, а ты...

– Хе-х! – дробно раскатился смешок, и она шлёпнула по бутылке. – Раньше, бывало, соберёмся с подружками, так этой посуды маловато было. Выпьем, сметём со стола, что приготовили. Песен напоёмся. Душеньку отведём в разговорах, и вставали трезвые, будто не пригубляли. Годков-то скока? Почитай, восьмой десяток доживаю. Многих уже нет на свете, а я небо ещё копчу. Видать, рановато. Срок мой не подошёл, Санько. Пей, не томи душу. Щи стынут.

Задержав дыхание, я опрокинул стаканчик и сразу закашлялся, внутри полыхнуло от крепкого самогона.

Баба Груня протянула кругляш огурца:

– Накось, закуси. Что слёзы потекли? Крепка, зараза? Но хороша, хороша! Всю хворобу из тела выгонит. Погрызи огурчик. Скусный!

Вытирая выступившие слёзы, я захрустел огурцом. Отмахнулся от второй стопки. Принялся за щи. В большой тарелке кусок разварившегося мяса с торчащей костью, крупная фасоль, картошка, капуста. Сверху, под золотистой плёнкой жира, кругляши морковки и венчик укропа. Вперемешку откусывал сало, хрустящие огурцы, подсоленный репчатый лук, перемальвал крепкими зубами, заедал вкусными щами...

Я облизнул ложку. Положил её в пустую тарелку. Откинулся к стене и взглянул на бабу Груню.

– Ух, вкусняцкие щи! – пробормотал я, вздохнул и посмотрел на чугунок. – Умять бы ещё тарелочку, да не уместится.

– Хе-х! А мой старик, бывало, вернётся, стакан опрокинет, доньшком вверх перевернёт – это была его норма. Ни разу за всю жизньюшку не видела, чтобы ещё выпивал. Ложку возьмёт, и давай наворачивать! Не успевала подливать да подкладывать. Пот в три ручья течёт, а он ещё самовар вздует, напьётся чаю. Сядет возле печи. Засмолит козью ножку. Так и не приучился к папироскам. А потом выйдет на улицу и начинает то дрова пилить, то навоз убирать. Ох, жадён был до работы! Царствие ему небесное! – баба Груня мелко перекрестилась и посмотрела на тёмную икону. – Вижу, Санько, спать потянуло? Погоди чуток. Чайку ещё попьём с баранками и уляжешься.

– Нет, баб Грунь, хватит, – я направился в горницу. – Утром встану пораньше. Хочу на речку сходить да в ельничке прогуляться.

– Не знаю, не знаю, – сказала баба Груня, держась за поясницу. – Косточки ломит. Чую, к утру разведрится. Кабы мороз не ударил.

Оставшись в трико и футболке, я улёгся на старый диван. В полутьме были заметны висевшие в рамках старые фотографии. Отсвечивало зеркало, засиженное мухами. Возле голландки, за занавеской, виднелась баб Грунина кровать – старая, с облезлыми шариками на спинках. Я в детстве старался их открутить. На половицах лежали самотканые цветные дорожки. В красном углу мерцал огонёк лампы перед образами, напротив двери стоял большой комод с разнокалиберными флакончиками, с пузырьками из-под лекарств и прочей мелочью. Возле окна, над столом висели старые ходики. Так было всегда в горнице, сколько себя помню. Сквозь полудрёму я слушал шелест дождя за окном, как баба Груня что-то тихо говорила и звякала посудой, убирая её в шкафчик. Потом она прикрыла меня ватным одеялом, и я заснул.

Очнулся от странной тишины за окном. Казалось, баба Груня продолжала позвякивать чугунками. Она шаркала топтышами да бормотала по-старушечьи, по привычке. И в то же время, что-то изменилось, чего-то не хватало в привычных звуках. Я прислушался. Скрипнул пружинами старого дивана, поднялся и, потянувшись за свитером, взглянул на окно. Здесь-то до меня дошло, что не слышно звуков дождя, лившего несколько дней подряд. Я раздвинул занавески. Всмотрелся в предутренние сумерки.

– Чего соскочил в такую рань? – донёсся неторопливый говорок бабы Груни, и она заглянула в тёмную горницу. – Говорила, что разведрит, так и случилось. В сараюшку пошла, Зорьке сена надёргать, дык еле спустилась с крыльца. Шла по двору, аж хрустело под ногами. Морозцем прихватило землю да лужи. Куда ни глянь – всё покрылось ледяной коркой. А ты собрался осень провожать. Хе-х! – она дробно засмеялась и махнула рукой, – сиди дома, Санька, грейся. Нечего по морозу шляться.

– Нет, баб Грунь, схожу, – сказал я. – Пройдусь вдоль берега. Может, зацеплю щучку. Поджарим на обед. Потом проведу ельник и вернусь, – и снял с гвоздя старую фуфайку.

– Погоди, Санько. Побежал, не завтракавши, как и мамка твоя, – засуетилась баба Груня. – Горячего чайку попей с баранками. Душеньку согреешь.

Я налил чай и стал отхлёбывать. Поставил кружку на стол. Надел сапоги. Взял рюкзачок, в котором лежала коробка с блёснами. Едва открыл дверь, как баба Груня протянула старую шапку:

– Надень. Голову застудишь. Санько, пока ходишь, я свежатинки нажарю. Вчера-то не угостила. Да чугунок со щами подогрею. Долго

не плёдай. Обед простынет. Ну, беги, провожай свою осень, провожай. Эть, краса... Хе-х!

Я взял спиннинг. Спустился с крыльечка, держась за холодные шаткие перильца, отполированные ладонями за долгие годы. Ледяная корочка хрустнула, когда наступил на землю.

Взглянул на розовеющее небо. Не та погода установилась для щуки, не та. Ну и ладно. На берегу посижу, погляжу на речку, на воду...

Стараясь не наступать в колею, покрытую тонким слоем льда, я прошёл вдоль заборов. Кое-где виднелся свет в домах или мелькал багровый огонёк лампы. Выбрался за околицу. В низине, укрывшись кустарником, протекала неширокая речушка. Я каждую осень приезжал в деревню. Уходил на речку. Иногда ловил щучку, а чаще – просто сидел на берегу и наблюдал за водой, за деревьями. Прогуливался по лесу и навещал ельник, что разросся неподалёку от деревни.

Похрустывала под ногами пожухлая трава. Репейник, будылья крапивы, заросли чилиги стояли припорошенные колким инеем. Проваливались ноги, ломая ледяную корку. Чавкала грязь, и почти сразу же её прихватывало крепким морозом. Но пройдёт немного времени, и под солнечными лучами снова предстанет взору неприглядная для постороннего, но любимая мною краса осенней природы.

Я спустился с небольшого обрыва на прибрежную полосу речушки, которой и название-то давно забыли. Любой житель или прохожий называли её всяко, как вздумается, в зависимости от настроения. Одним словом – безымянная. Остановился возле кромки. Сквозь прозрачные закраины видны полёгшие водоросли. Испугавшись меня, сверкнула серебром рыба мелочь и исчезла в глубине. Во льду застыл жёлтый берёзовый лист. А там, на открытой воде, разошлись небольшие круги. Нет, это не щука. Так... Верховка балует. Резвится. Куда же вы несётесь, мелочь? Не думаете, что под любой корягой или валуном вас ожидают щучка или судак. Эх, молодь, сеголетки...

Присел на холодный валун. Странное, слегка тревожное, но и восторженное чувство охватывало меня, когда я оказывался возле реки. Хотелось вдыхать и выдыхать тонкие ароматы воды, жухлых трав, опавших листьев. В такие моменты я чувствовал горечь неизбежности расставания со всей простой прелестью осенней природы. Но наполнялась душа благодарностью к скромным, но драгоценным дарам её. Долго наблюдал за речкой, несшей воды куда-то в даль. В ту даль, где я ещё не был. И буду ли? Пока не знал... Потом взобрался на небольшой обрыв. Осмотрелся. Я же решил навестить ельник, он зеленел неподалёку от деревни.

Казалось, я недолго находился возле речки, а вокруг уже нет той утренней морозной

красы, когда шёл сюда. На открытых местах сиротливо торчали нагие кустики репейника. Под ногами реже хрустывало. Опять зачавкала грязь. С трудом перебрался на взгорок, где начинался ельник. Раздвигая ветви, я направился в сторону деревни. Посматривал на яркий зелёный наряд, на желтовато-коричневый слой опавшей хвои с вкраплениями старых шишек и белую морозную бахрому, она сохранилась под нижними лапами ельника. Слушал цвирканье синичек. Вскоре вышел на маленькую поляну, окружённую высокими елями. И здесь мне показалось, будто под лапой, в теньке, что-то мелькнуло. Остановился. Приподнял колючую ветвь и удивлённо присвистнул. Передо мной, с прилипшими к шляпкам иголками, приютилась небольшая семейка рыжиков. Откуда же вы, родимые? Ваше время давно закончилось! Долго я смотрел на них. Любовался в углублениях шляпок замёрзшими капельками воды, которые превратились в тонкие ледяные снежинки и словно паутинкой затащили доньшко. Но по краешкам шляпок уже была черноватая полоска от первого заморозка. Опасаясь дотронуться до льдистых снежинок, я достал нож и срезал рыжики. Снял шапку. Уложил туда грибы. Опрометью бросился к дому, чтобы показать бабе Груне необычные, сверкающие снежинки и сами рыжики, что не ко времени появились на свет, украсив ярким цветом осенний унылый наряд.

– Баб Грунь, баб Грунь, – крикнул я, ввалившись в избу, – иди сюда быстрее! Глянь, краса-то какая!

Подслеповато щурясь, баба Груня вышла из горницы.

– Эть, малохольный, – она проворчала и нахмурилась. – Шлѣндаешь по морозу. Что в дом притащил? Точно, в мамку уродился, в мамку!

– Глянь, баб...

Она подошла, шаркая топтышами. Заглянула в шапку, откуда торчали рыжие головѣнки грибов с льдистыми коронками, и недоверчиво посмотрела на меня.

– Не может быть, Санько! – и снова склонилась над шапкой. – Откель такое чудо взял? Хе-х! Зима на носу, а ты грибы разыскал. Эть невидаль-то! Осень долгой была, поэтому они появились. Времечко своё спутали.

Прошло несколько минут. Снежинки превратились в чистые прозрачные капельки осеннего дождя и ртутью перекатывались по доньшкам запоздалых грибов.

– Раздевайся, Санька, – сказала баба Груня. – Заждалась тебя. Чугунок да сковородку не вынимала из печи. А с ними что делать? Поджарим? – и положила рыжики на стол.

Я посмотрел на грибы. Пахнуло горьковатым запахом свежих рыжиков. Словно время вернуло нас в прошедшее лето, приготовив гостинец перед долгой и суровой зимой. И не удержался, ткнул пальцем:

– Последний подарок... Баб Грунь, посмотри, краса-то какая!